



# АВГУСТ

*Бруно ШУЛЬЦ*

## 1

**В** июле отец уезжал на воды, оставляя меня, мать и старшего брата на растерзание хмельным, белым от зноя летним дням. Одурев от их блеска, перелистывали мы эту большую книгу каникул с пылающими от света страницами, на дне которых лежала сладкая до истомы мякоть золотых груш.

Сияющим утром возвращалась Аделя — как Помона из пламени раскаленного дня — и высыпала из корзины цветастые дары солнца: поблескивающую, влажную под прозрачной кожицей черешню и таинственную черную вишню — ее запах превосходил то, что способен был дать вкус, и абрикосы, чья золотая мякоть была самбй сердцевинной длинных послеполуденных часов, а по соседству с этой чистой поэзией фруктов выкладывала она наполненные силой и сытостью куски мяса с клавиатурой телячьих ребер и водоросли овощей, похожие на мертвых осьминогов и медуз — это сырье для обеда, с неоформленным, яловым еще вкусом, вегетативные и теллурические компоненты обеда с дикими, полевыми запахами.

Через полутемную квартиру на втором этаже каменного дома на рыночной площади ежедневно насквозь проходило большое лето: и тихо подрагивающие артерии воздуха, и сияющие квадраты, прикорнувшие на полу в своих жарких снах, и извлеченная из золотой струны дня мелодия шарманки, и два-три такта мотива, которые снова и снова наигрывало где-то фортепиано — оброненные в пламени глубокого дня, сомлевшие под солнцем на белых тротуарах. Сделав уборку, Аделя задерживала полотняные занавески и запускала в комнаты тень. И краски брали на октаву ниже: комната, словно в освещенную морскую глубину, погружалась в тень, мутно отражаясь в зеленоватых зеркалах, а весь дневной зной дышал на занавесках, слегка колеблясь в полуденных грезах.

По субботам после полудня мы с матерью шли на прогулку. Из полумрака подъезда сразу попадали мы в солнечную купель дня. Окутанные золотом прохожие шурились от солнечного сияния, словно веки им склеил мед, а приподнятая верхняя губа открывала зубы и десны. И у всех, кто брел по золотистому дню, на лице была одна и та же гримаса зноя, будто солнце надело на каждого своего приверженца одну и ту же маску — золотую маску солнечного братства, и все — старые и молодые, дети и женщины — при встрече на улицах, ощерясь вакхической гримасой, на ходу приветствовали друг друга этой маской — нанесенным на лицо толстым слоем золотой краски, маской варварского языческого культа.

Рыночная площадь была пуста, желта от зноя, горячий ветер, как с библейской пустыни, смел с нее всю пыль. Колючие акации, росшие на пустыре желтой площади, вскипали светлой листвой, гроздьями искусно выполненной зеленой филигрании, словно деревья на старинных гобеленах. Казалось, деревья заигрывают с ветром, театрально взвихрив кроны, чтобы в патетических поклонах продемонстрировать, будто благородный мех лисицы, изысканное

серебристое подбрюшье вееров своей листвы. Старые дома, которые дни напролет шлифовал ветер, тешились теперь отблесками воздушного простора, эхом, припоминанием красок, рассеянных в толще живописной погоды. Казалось, целые поколения летних дней (словно терпеливые штукатурки, сбивающие заплесневевшую штукатурку с фасадов) соскребали фальшивый глянец, понемногу изо дня в день извлекая на свет настоящие лица домов, сформированные изнутри жизнью и судьбой. Ослепленные блеском пустой площади, спали окна, балконы признавались небу в своей пустоте, из отворенных дверей пахло прохладой и вином.

В углу площади кучка оборванцев, не выметенная оттуда огненной метлой зноя, обступила участок стены и снова и снова подвергала его испытанию, бросая в него пуговицы и монеты, как будто гороскоп этих металлических кружков мог поведать им настоящую тайну стены, покрытой иероглифами шрамов и трещин. Остальная часть площади была пуста. Казалось, в полумрак сводчатого подъезда с бочками виноторговца из тени дрожащих на ветру акаций подведут сейчас за узду ослика Самаритянина, и двое слуг заботливо снимут страдальца с раскаленного седла и осторожно поведут его по прохладной лестнице в пахнущий шаббатом дом.

Так странствовали мы с матерью по двум солнечным сторонам площади, проводя, как по клавишам, по всем домам нашими изломанными тенями. Квадраты брусчатки медленно проходили под нашими мягкими и равномерными шагами — одни светло-розовые, как кожа человека, другие — золотые и синие, но все ровные, теплые, бархатные от солнца, словно солнечные лица, затертые подошвами до неузнаваемости, до сладкого смирения.

И лишь на углу Стрыйской входили мы, наконец, в тень аптеки. В витрине большой стеклянный шар с малиновой жидкостью символизировал прохладу бальзамов, способных избавить от любого страдания. А еще через пару домов улица больше не могла блюсти свой городской вид, словно крестьянин, возвращавшийся восвояси, освобождается от городского лоска и по мере приближения к дому постепенно превращается в деревенского оборванца.

В предместье буйное, витиеватое цветение небольших садов затопляло дома, подымаясь выше окон. Ускользнув от внимания дня, буйно и скрытно росли всевозможные травы, цветы и сорняки, радуясь его забывчивости — за оклицами времени, на пограничье бесконечного дня. Огромный подсолнух, поднявшийся на непомерном стебле, большой слоновьей болезнью, дожидаясь в золотом трауре печального окончания своей жизни, перегибаясь от избытка чудовищной полноты. Но наивные пригородные колокольчики и непривередливые ситцевые цветочки лишь растерянно стояли в своих накрахмаленных белых и розовых рубашечках, так и не осознав великой трагедии подсолнуха.

## 2

Густые заросли травы, сорняка, бурьяна, репейника полыхают в солнечном пламени. Роями мух гремит послеполуденное оцепенение сада. Золотая стерня, точно рыжая саранча, кричит на солнце; горланят в ливне огня сверчки, и тихо, как кузнечики, скачут врассыпную семена взорвавшихся стручков.

А у забора, как мохнатый тулуп, набух травяной горб, словно это сад перевернулся во сне на живот и от его дебелих мужицких плечей повеяло тишиной почвы. И на плечах у сада неопрятное ведьмовское неистовство августа подняло из глухих впадин непомерные гигантские лопухи, заполонило все лоскутами их ворсистых листьев, жадными языками мясистой зелени. Широко разбросанные по саду, отовсюду теперь таранились лопухи, словно пучеглазые ведьмы в наполовину объединенных шальных юбках. А сад распродал за бесценок самую дешевую, отдающую мылом крупу дикой сирени, и грубое пшено подорожника, и резкую водку мяты, и остальную распоследнюю летнюю дрянь.

По другую же сторону забора, за чащами лета, где разросся кретинизм идиотических сорняков, раскинулась буйно заросшая бурьяном свалка. И никому на свете было неведомо, что именно здесь совершал этот август свою великую языческую оргию. На этой свалке вплотную к забору в зарослях дикой сирени стоит кровать дурочки Тлуи. Так ее называют все. На куче мусора и отбросов, негодной кухонной утвари, рваной обуви, посреди руин и развалин, стоит ее крашенная зеленой краской кровать, отсутствующую ножку которой заменяют два старых кирпича.

Воздух над этими руинами — разъяренный от зноя, пронизанный сверкающими молниями конских навозниц, осатаневших от солнца, — словно грохочет невидимыми трещотками, доводя себя до иступления.

Тлуя как прикованная сидит среди тряпья на своей желтой постели. Большая ее голова топорщится пучками черных волос. Лицо сморщено в гармонию. Ежеминутно гримаса плача сжимает эту гармонию в тысячу поперечных складок, а изумление растягивает ее в обратную сторону, расправляет складки, показывает щелки маленьких глаз и влажные десны с желтыми зубами под похожими на хобот мясистыми губами. Проходят полные зноя и скуки часы — Тлуя

что-то вполголоса бормочет, дремлет или тихо ворчит и похрюкивает. Мухи облепили ее неподвижное тело густым роем. Но вдруг вся эта куча грязного, изодранного в клочья тряпья начинает шевелиться, словно это закопошились расплодившиеся в нем крысы.

Потревоженные мухи поднимаются в воздух большим гудящим роем, полным жужжания, дрожания, поблескивания. Тряпье падает на землю и, словно испуганные крысы, разбегается в стороны, из него выбирается, очищаясь от шелухи, ядро, сердце свалки — полуголая, вся черная идиотка медленно приподымается и, словно языческий божок, встает на своих коротких детских ножках. Набухшая от приступа злости шея, побагровевшее, потемневшее от гнева лицо, на котором, как варварская живопись, расцвели арабески набрякших сосудов, извергают хриплый звериный рык, добытый из всех бронхов и труб этой полужвериной-полубожественной груди.

Кричит обожженный солнцем бурьян, набухают и чванятся бесстыжим мясом лопухи, сорняки обслынявились своим блестящим ядом, а дурочка, охрипшая от крика, с яростным пылом, в судорогах, тычется мясистым лоном в ствол дикой сирени, он тихо поскрипывает под напором распутной похоти, а заклинания всего этого хора оборванцев попускают его к извращенному языческому плодородию.

Мать Тлуу драит полы в чужих домах. Это маленькая, желтая, как шафран, женщина, и шафраном же натирает она вымытые полы, сосновые столы, лавки и кровати в чужих бедных жилищах. Однажды Аделя взяла меня с собой в дом этой старой Марыськи. Было раннее утро, мы вошли в маленькую комнату с голубой побелкой на стенах, с глиняным полом, на котором лежал свет солнца, ярко-золотой в этой утренней тишине, размеченной ужасающим тиканьем грубых настенных часов. В сундуке на соломе спала придурковатая Марыська, бледная, как облатка, и тихая, как варежка, из которой выскользнула рука. И, словно пользуясь ее сном, разглагольствовала тишина — желтая, яркая, злая, никем не прерываемая, скандалила, громко и нагло тараторила маниакальный свой монолог. И время Марыськи, время, заточенное в ее душе, вышло наружу во всей своей жуткой очевидности и без помех двинулось по комнате — гулкое, раскатистое, адское, хлынувшее в светлом молчании утра из-под жерновов стенных часов, словно злая, сыпучая, дурацкая мукá сумасшедших.

### 3

В одном из этих тонувших в буйной зелени домов, за коричневым штакетником, жила тетя Агата. Войдя за ограду, проходили мы мимо насаженных на шесты разноцветных стеклянных шаров — розовых, зеленых, фиолетовых, — в которых колдовской силой заключены были ярко светящиеся миры, точь-в-точь те полные совершенства и счастья картины, что расцветают на неприкосновенной, недостижимо прекрасной оболочке мыльных пузырей. В полутемном коридоре, где на стенах висели изъеденные плесенью, ослепшие от старости олеографии, встречал нас знакомый запах. Этот старый надежный запах каким-то на удивление простым способом вобрал в себя всю жизнь этих людей, став возгонкой их породы, ее отличительным знаком, тайной их судьбы, неощутимо присутствуя в повседневном течении их особого времени. Старая, мудрая дверь, — ее темные вздохи впускали и выпускали обитателей дома, она была молчаливой свидетельницей входа и выхода матери, сыновей, дочек, — распахнулась беззвучно, словно дверца шкафа, и мы вошли в их жизнь. Они беззащитно сидели в тени своей судьбы и первыми же неловкими жестами выдали свою тайну. Но разве не породнились мы с ними и кровью, и судьбой?

Комната казалась темной и бархатной от синей обивки с золотыми узорами, хотя латунные отзвуки пламенеющего дня, прошедшие сквозь густую зелень сада, подрагивали и здесь — на окладах образцов, на дверных ручках и золотистых рейках. От стены поднялась тетя Агата — крупная, резвая, с пышным белым телом, усеянным рыжей ржавчиной веснушек. Мы сели с ними рядом, словно на берегу их судьбы, слегка пристыженные беззащитностью, с которой они безоговорочно нам сдались, и принялись пить воду с розовым сиропом — удивительный напиток, что стал для меня сконцентрированной эссенцией этой жаркой субботы.

Агата жаловалась. Это был основной мотив всех ее разговоров, голос ее белого плодородного тела, отделенного, казалось, от нее самой, сама же она едва сохраняла целостность, удерживая себя в узах индивидуальной формы, но даже в этой целостности уже множилась, готовая распасться, разветвиться, рассыпаться, становясь целой семьей.

Была это плодовитость, казалось, самооплодотворяющейся, женской сущью, болезненно буйной и лишенной тормозов. Словно один только запах мужчины, аромат табачного дыма, холостяцкая шутка могли подтолкнуть эту распаленную женственность к распутному партеногенезу. И, собственно, все ее жалобы на мужа, на слуг, хлопоты о

детях были лишь капризами, привередничаньем ее неуголенного плодородия, продолжением ее сердито-плаксивого кокетства, которым напрасно терзала она своего мужа. Дядя Марек, маленький, сгорбленный, с потерявшим признаки пола лицом, сидел, погрузившись в серое свое банкротство, смирившись с долей, укрывшись в тени гигантского презрения, в которой он словно отдыхал. В серых глазах его тлел прошедший через окно приглушенный далекий огонь сада. Иногда слабым жестом пытался он возразить, оказать сопротивление, но волна самодостаточного женского начала, не обращая внимания, отбрасывала этот жест в сторону, триумфально проносилась мимо и топила в широком своем течении робкие взбрыкивания мужской натуры.

Что-то трагическое было в этом неряшливом и необузданном стремлении к плодородию, что-то нищенское, сражающееся на грани исчезновения и смерти, некий героизм женской сути, побеждающей своей плодovitостью даже ущербность естества и несостоятельность мужчины. Однако потомство делало оправданной эту материнскую панику, это неистовство деторождения, которое истощало себя в неудачном приплоде, в поколении эфемерных фантомов — обескровленных и безликих.

Вошла Люция, средняя, — голова ее слишком уж расцвела и вызрела на детском пухлом теле, белом и нежном. Протянула мне свою кукольную ручку, развернувшуюся, как почка, прямо на глазах, и тут же зацвело и все ее лицо, словно вспыхнувший розовой луной пион. Несчастливая из-за этих приливов крови к лицу, бесстыдно выдающих секреты ее менструаций, она закрывала глаза и пламенела еще сильнее от самого невинного вопроса, который тем не менее тайно намекал на ее сверхчувствительную девственность.

Эмиль, самый старший из двоюродных братьев и сестер — с его украшенного белокуроми усами лица жизнь словно бы смыла всякое выражение, — расхаживал взад-вперед по комнате, засунув руки в карманы широких брюк.

На его элегантно дорогом костюме лежала печать экзотических стран, в которых он побывал. Поблекшее, потускневшее его лицо, казалось, понемногу забывало о своем собственном существовании, становясь гладкой белой стеной, покрытой бледной сетью жилок, на нем, как линии затертой карты, перепутались гаснущие воспоминания о бурной и понапрасну растроченной жизни. Он был знатоком всех карточных премудростей, курил длинные изысканные трубки и благоухал удивительными ароматами дальних стран. Со взглядом, блуждающим по давним воспоминаниям, рассказывал он удивительные истории, которые вдруг обрывались, распадались, развеивались без следа.

А я не сводил с него своих тоскующих глаз, надеясь, что он обратит на меня внимание и избавит от томительной скуки. Я решил, что он и вправду подмигнул мне, выходя в другую комнату. Я последовал за ним. Он сидел на низком диванчике, скрестив ноги — колени почти на уровне лысой, как бильярдный шар, головы. Казалось, что это лежит одна одежда — смятая, собравшаяся в складки, сброшенная на диван. От лица его осталось только дыхание — словно струйка, оставленная в воздухе незнакомым прохожим. В бледных, будто покрытых голубой эмалью руках у него был раскрытый бумажник, он что-то в нем разглядывал.

Сквозь туман его лица с трудом проглянуло бельмо тусклого глаза, подзывая меня плутовским подмигиванием. Я чувствовал к нему неодолимую симпатию. Зажав меня коленями, он умелыми движениями перетасовывал перед моим лицом фотографии, на которых в странных позах изображены были голые мужчины и женщины. Я стоял, прижимаясь к нему боком, глядя на эти нежные тела невидящими глазами, пока флюиды непонятного возбуждения, от которых вдруг помутнел воздух, не дошли до меня и не пробежали по мне беспокойной дрожью, волной внезапного понимания. А тем временем дымка улыбки, что вырисовалась под его пушистыми красивыми усами, завязь вождения, набухшая пульсирующей жилкой на виске, напряжение, на минуту собравшее вместе черты его лица, — снова опали, возвращаясь в пустоту, и лицо перестало существовать, забыло себя, развеялось в воздухе.

*Перевел с польского Андрей Пустогаров (специально для «Вестника Европы») ■*

# БРУНО ШУЛЬЦ

## и его «особенная провинция»

Вера МЕНЬОК

*Этот край и этот город замкнулись, как створки раковины, создав самодостаточный мирок, и замерли на пороге вечности.*

---

### БРУНО ШУЛЬЦ «РЕСПУБЛИКА ГРЁЗ»

---

Небольшому западноукраинскому городу Дрогобычу суждено было приобрести мировую известность благодаря Бруно Шульцу — польскому писателю и художнику еврейского происхождения, родившемуся, жившему, творившему и погибшему здесь. Поэтому шульцевский Дрогобыч нередко сравнивают с кафкианской Прагой, джойсовским Дублином или Витебском Марка Шагала. Прорыв в пространство мировой литературы Шульц смог осуществить создав и детальнейше прописав миф своего родного города. Вместе с двумя другими польскими писателями-модернистами межвоенного времени — Витольдом Гомбровичем и Виткацы (Станиславом Игнацием Виткевичем) — сумел вывести польскую литературу с эпигонских задворок романтически-мессианских пророчеств национально-освободительного характера на широкий простор мировой культуры. Шульц, Гомбрович и Виткацы стали литературным авангардом своего времени, к неудовольствию тогдашней литературной критики, обвинявшей их в пессимизме, деструктивности, распущенности и прочих смертных грехах. Однако новое литературное качество их текстов оказалось безупречным, что подтвердило последующее развитие западноевропейского искусства. «Тремя мушкетерами» назвал их французский литературовед Жан-Пьер Сальгас, но и из этой троицы друзей Шульц выпадает и выглядит в ней чересчур *иным*. Да и вся его творческая биография, с не столь уж частыми взлетами, выглядит и читается *иначе*. Но эта тема требует особого рассмотрения, и мы остановимся лишь на одной ее линии, точнее — круге «Шульц и Дрогобыч», в котором оказались замкнуты жизнь и творчество этого автора. Так что же в этом особенного и иного?

Один из пионеров шульцеведения польский поэт Ежи Фицовский, автор фундаментального труда «Регионы великой ереси», считал беспрецедентным, что скромный школьный учитель рисования в небольшом провинциальном городе отважился и сумел в одиночку создать воображаемый мир в рамках реальной топографии — стать автором-ересиархом художественной «библии», главным предметом культа которой являются таинственная суть вещей и магия творчества. Шульц, действительно, любил свой «город, единственный на всем белом свете», и «особенную провинцию», которую никогда не стремился покинуть в поисках другого пространства для своей реализации. Он считал, что в Варшаве ничего не смог бы написать, и даже из Парижа, в котором так страстно желал побывать, с чувством огромного облегчения возвращался домой, к своей ни с чем не сравнимой дрогобычской тишине. Он любил свой город как самое близкое живое существо — как никого и никогда не любил.

В своих рассказах он ни разу не назвал его по имени, и его гротескный город очень мало похож на тогдашний или нынешний Дрогобыч. Тем не менее, заселив его своими персонажами и разыграв на его подмостках метафизические истории, он создал достовернейший экспрессионистский портрет души этого города — и тем его обессмертил.

О перспективе бесконечности в творчестве и биографии Шульца писал профессор Владислав Панас, который, позаимствовав у Эммануэля Левинаса понятие «интрига бесконечности», вписал в эту интригу феномен Шульца, начиная с самого внешнего и топографически прозрачного круга его жизни. Я бы сказала, с петли, туго затянутой на его горле в смертельный узел. Потому что рукой подать от того дома на углу Рыночной площади, где 12 июля 1892 года родился в еврейской семье ребенок, получивший христианское имя Бруно, до перекрестка, где 19 ноября 1942 года Шульц был убит прытким гестаповцем (да будет проклято его имя) выстрелом в затылок в ходе дикой охоты на людей.

Безымянность шульцевского города имела пророческое последствие и для самого Шульца. Мы не знаем и уже никогда не узнаем, где покоятся его останки.

Фото Игоря Фецака

**Ч**то есть Дрогобыч? Ведь это же не гриновский Гель-Гью, не Зурбаган.

В Средние века Дрогобыч являлся одним из важных центров солеварения в Прикарпатье (и, кстати, до сего дня этот промысел здесь не сильно усовершенствовался технологически). В 1578 году польский король Стефан Баторий присвоил городу статус *de non tolerandis Judaeis*: евреи не имели права селиться в городе и могли пребывать в нем только в торговые дни. Поэтому они селились в пригороде, на так называемом Лане, где их право на проживание было подтверждено только в 1634 году Владиславом IV (именно в этой части города во время немецкой оккупации находилось еврейское гетто). Оказавшись в 1772 году в составе Австро-Венгерской монархии, Дрогобыч на рубеже XVIII–XIX веков переживает экономический упадок, постепенно превращаясь в застывшую, сонную, безнадежную провинцию. Ситуация кардинально изменилась, когда во второй половине XIX века в соседнем Бориславе была открыта нефть, что стимулировало бурное строительство железных и шоссейных дорог (до Дрогобыча железная дорога дотянулась в 1872 году). Благодаря «Бориславской Калифорнии» за считанные годы Дрогобыч превратился в «Галицийский Клондайк», что привело к обогащению и процветанию города. Следы этих времен «золотой лихорадки» заметны и сегодня, если присмотреться к небольшим, но богатым и вычурным палаццо и виллам на главных исторических улицах города — Адама Мицкевича (ныне Тараса Шевченко), Генрика Сенкевича (ныне Ивана Франко), Яна Собеского (ныне Леси Украинки). Эти дома принадлежали нефтяным магнатам и прочим внезапно обогатившимся предпринимателям. В пригородах и сегодня существуют старые постройки нефтеперерабатывающих фабрик, а в Бориславе можно увидеть характерные нефтяные качалки, затерявшиеся в сельском пейзаже. Стоит отметить, что из десяти нефтеперерабатывающих предприятий (среди которых и самые мощные по тем временам в Европе «Польмин» и «Галиция») семь принадлежали еврейским предпринимателям. В 1869 году в Дрогобыче проживало 8055 евреев (48 % от общего числа жителей). Когда после Первой мировой войны Дрогобыч вошел в состав Польши, здесь проживало 12 тысяч евреев, а к 1939 году их число возросло до 17 тысяч. Сразу после вторжения в 1941 году немецких войск начались еврейские погромы. Несколько тысяч евреев были вывезены в концлагерь в Бэлжеце, остальные переселены в гетто, многие работали в трудовых лагерях. Тысячи евреев были уничтожены в Бронницком лесу близ Дрогобыча 21 апреля 1943 года. Войну пережили, укрываясь в городе либо в лесах, всего лишь 400 евреев, большинство из которых выехали впоследствии в Польшу



или в Израиль. Такова судьба дрогобычских евреев. В советское время, согласно переписи населения 1970 года, евреев в Дрогобыче проживало 3% от общего числа горожан — столько же примерно, сколько поляков. К сожалению, сегодня эти проценты уверенно движутся к нулю. Статистика — не только цифры, но знаки судьбы и огромной трагедии множества людей. И это необратимо.

В связи с этим возникает вопрос: согласны ли дрогобычане, потеряв своих евреев и поляков, потерять и своего Шульца? Это зависит от отвечающего. Увы, кое-кто в современном Дрогобыче на такой вопрос ответит утвердительно без тени сожаления. Но есть и такие, кто ответит отрицательно — что не может не радовать, особенно если речь идет об украинской интеллигенции и молодежи Дрогобыча.

Вопрос о потере Городом своего Писателя и Художника перекликается с поисками Шульцем пригрезившейся ему «гениальной эпохи» детства/счастья, которую он пытался вернуть, зафиксировать в своем письме и рисунках. Как вспоминает один из его учеников, польский писатель Анджей Хцюк, автор сентиментальной дрогобычской дилогии «Атлантида» и «Лунная земля», незадолго до Катастрофы его учитель рисования часто делал наброски ничем не примечательных дрогобычских домишек-развалюх. На вопрос, зачем он это делает, ведь в городе так много пейзажей поинтереснее, учитель отвечал проницательно просто: рисует тот мир, который вот-вот погибнет.

Об этой «гениальной эпохе» Шульц говорил одновременно туманно и предельно ясно: «Так существовала когда-то эта гениальная эпоха — или же нет? Трудно ответить однозначно. И да, и нет». Наверное, вот так и сам Шульц ответил бы на вопрос: потерял он для своего Дрогобыча или нет? И да, и нет, — думаю, так он бы ответил. Ведь сам Шульц для этого города — его гениальная эпоха. Вот только грунт земного Дрогобыча не выдерживает на себе такого сложного события, каким явился для него этот писатель и художник.

Первым шагом навстречу Шульцу и его «гениальной эпохе» стала встреча в Дрогобыче в ноябре 1992 года (провозглашенного ЮНЕСКО годом Бруно Шульца) польских и украинских исследователей, ценителей, поклонников творчества автора «Коричных лавок» и «Санатория под клеписдрой». Совместными усилиями была создана комната-музей в бывшем учебном кабинете бывшей гимназии им. Владислава Ягелло (ныне это центральный корпус Дрогобычского педагогического университета), где Шульц служил учителем рисования и труда. Полонистический центр университета опекает эту комнату-музей и принимает множество посетителей со всего света, готовых ради Шульца совершить «паломничество» в Дрогобыч.

Следующим шагом стало учреждение Международного фестиваля Бруно Шульца — междисциплинарного научно-художественно-театрально-литературного биеннале, которое проводится в Дрогобыче с 2004 года. Последний по времени 4-й фестиваль состоялся в мае 2010 года. Его «фишкой» стал проект издания на десяти языках Путеводителя по Дрогобычу Бруно Шульца, где старые и современные фотографии конкретных объектов на карте города сопровождаются соответствующими фрагментами из прозы писателя. Следующий, 5-й фестиваль организаторы — Полонистический научно-информационный центр имени Игоря Менька (Дрогобычский университет), Ассоциация «Фестиваль Бруно Шульца» (Люблин, Польша) рассчитывают провести в юбилейном Шульцевском 2012 году — 120-летия жизни и 70-летия смерти великого Бруно. ■

# ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКАЯ МИСТЕРИЯ

Фрагменты новелл Бруно Шульца  
из путеводителя «Дрогобыч Бруно Шульца»

**Бруно ШУЛЬЦ\***

## I. МЕСТА ДЕЙСТВИЯ

### Площади Рынок, Малый Рынок и прилегающие улочки

Жили мы на Рыночной площади, в одном из тех потемневших домов со слепыми и голыми фасадами, которые так мало отличались друг от друга. Что часто служило причиной невольных ошибок.

Так, перепутав подъезд и поднявшись не по тем ступеням, ты вдруг попадад в настоящий лабиринт незнакомых коридоров, запертых дверей чужих квартир, тянущихся по периметру балконов и черных лестниц, ведущих в дворы-колодцы, так что и не вспомнить уже было, как и зачем ты здесь очутился, чтобы однажды, устав от бесплодных блужданий и сомнительных приключений, на рассвете серого дня вдруг вспыхнуть от стыда, вспомнив о родимом доме.

Заставленное огромными шкафами и диванами, дешевыми имитациями пальм и тусклыми зеркалами, наше жилище неуклонно деградировало по причине нерасторопности матери, вынужденной просиживать с утра до вечера в лавке, и из-за лени смуглоногой Адели, оставленной без хозяйского присмотра и большую часть времени проводившей перед зеркалом, о чем говорили ее разбросанные повсюду туфельки, корсеты и гребни с вычесанными волосами.

Неизвестно было даже, сколько у нас жилых комнат, ибо никто не помнил, какие из них в данный момент сданы квартирантам. Не раз случалось, толкнув дверь, обнаружить пустую комнату, из которой давно съехал жилец, а в не открывавшихся месяцами ящиках столов и комодов вас ожидали самые непредсказуемые находки.

*Площадь Рынок в Дрогобыче  
на рубеже XIX–XX веков.*

*Справа от костела Св. Варфоломея —  
дом семьи Шульцев, сгоревший  
в Первую мировую войну*



## «Наваждение»

Рынок был пуст и желт от жары, выметенный горячими ветрами, как библейская пустыня. Тернистые акации, выросшие на пустыре желтого плаца, вскипали над ним светлой листвой, букетами изящно прорезанной зеленой филигрании, подобно деревьям на старинных гобеленах. Казалось, это они возбуждали ветер, театрально вздымая свои кроны, чтобы в патетичных изгибах продемонстрировать изысканность своих листовенных вееров с серебристым, как у драгоценных лисиц, подбрюшьем. Старые дома, отполированные ветрами за много дней, окрашивались атмосферными рефлексамии, отзвуками, воспоминаниями колеров, распорошенных в цветовой глубине лета. Казалось, что целые поколения погожих дней потрудились, оббивая фальшивую глазурь с фасадов домов (как терпеливые маляры очищают их от заплесневелой штукатурки), обнаруживая с каждым днем все выразительней истинное обличье зданий — физиономии жизни и судьбы, которые исподволь их формировали. Сейчас их окна, ослепленные блеском опустевшей площади, спали, балконы являли небу собственную пустоту, а из раскрытых сеней веяло холодом и вином.

[...] Так неторопливо прогуливались мы с матерью по двум солнечным сторонам Рынка, проводя свои изломанные тени по фасадам зданий, как по клавишам. Квадраты брусчатки проплывали под нашими мягкими и плоскими стопами — одни бледно-розовые, как человечья кожа, другие золотистые или сизые, но все одинаково плоские, нагретые и бархатистые на солнце, словно какие-то солнечные лица, затертые шагами до совершенной неузнаваемости, до блаженного небытия.

## «Август»

Пока, наконец, на углу улицы Стрыйской мы не входили в тень аптеки. Большая банка с малиновым соком, выставленная в широком аптечном окне, символизировала холод бальзамов, которым можно было утолить здесь любое страдание. Еще несколько каменных домов — и дальше улица была уже не в состоянии поддерживать декорум города, как тот крестьянин, что, возвращаясь в родное село, раздевается по дороге и, избавляясь от городской своей франтоватости, превращается понемногу в сельского оборванца.

## «Август»

Город уже спал, когда мы въехали в теснины его пустынных улиц. Кое-где еще светились отдельные фонари, будто нарочно оставленные затем, чтобы выхватить из темноты какой-то приземистый дом, чей-то балкон или никому не нужный номер над запертой брамой. Застигнутые в столь поздний час закрытые наглухо магазинчики, покачивающиеся на ветру вывески и подъезды со стертymi ступенями свидетельствовали о безнадежном запустении — о глубочайшем сиротстве матери, лишившейся внимания людей и предоставленной самой себе.

Повозка сестры свернула в боковую улочку, а мы поехали дальше к рыночной площади. Кони замедлили свой бег, когда мы въехали в ее крошечную темень. Светились только открытые двери пекарни, с порога которой босой пекарь проводил наш экипаж невидящим взглядом, да окно бессонной аптеки, тщетно манившее нас сферической банкой малинового бальзама. Брусчатка усиливала цоканье конских копыт, акцентируя одиночное и вдвоенное лязганье



**Улица Шевченко (ныне Мицкевича)  
на рубеже XIX–XX веков:**

*строительный бум, особняки, виллы  
австро-венгерских нефтебаронов*

\* Перевод с польского Игоря Клеха, первая публикация.

подков, все более звонкое и все более размеренное, покуда не выплыл из темноты обшарпанный фасад родного дома и не остановился перед нами, как вкопанный.

[...] За приоткрытым окном нашего жилища горела свеча, и от сквозняка прыгали по стенам тени. Потемневшие обои в нем были поедены плесенью несчастий и разочарований множества одряхлевших поколений. Казалось, разбуженная старая мебель, о которой наконец вспомнили, глядела на вернувшихся домой с горечью и терпеливой мудростью во взгляде. Словно давала понять: никуда вы отсюда не денетесь, все равно вернетесь в заколдованный круг, где давно расчислены все ваши движения и жесты — все подъемы с постели, все усаживания за стол, все ваши ночи и дни наперед. Здесь вас ждут, здесь вас знают...

*«Осень»*

[...] Затем все начинало порастать темной трухлявой корой, шелушащимися струпьями теней, опадающих на землю. И покуда низину заливал прилив тьмы, — где все стремительно распадалось, шло прахом, и росли замешательство и паника, — на небесах безмолвно и грозно разгорался закат, сопровождаемый приглушенным позвякиванием миллионов бубенцов и бесшумным взлетом миллионов невидимых жаворонков, поднявшихся разом и устремившихся в серебристую бесконечность.

После чего сразу навалилась ночь — огромная ночь, еще и раздутая ветрами во всех направлениях. В ее запутанном лабиринте виднелись теперь только светлые лунки — похожие на цветные фонари лавки, ломящиеся от обилия товаров и притока покупателей. За их стеклами вершился шумный и причудливый церемониал осенних распродаж.

Эта огромная, раздутая ветрами осенняя ночь, скрывала в темноте своих колышущихся фалд светящиеся карманы со всевозможной цветастой ерундой — шоколадками, печеньями, колониальной мелочевкой. Ларьки и будки, наспех сколоченные из деревянных ящиков от сладостей, разукрашенные яркими обертками от шоколада и мыла, ломились от праздничных пустяков, — вроде смешных дудок, разноцветных леденцов или хрустящих вафель в позолоченной и серебристой бумаге, — являясь оплотами легкомыслия и погрешками беспечности, затерянными в глухих уголках растрепанной ветрами ночи.

*«Ночь Большого сезона»*

**Мифическая «улица Крокодилов» (ул. Стрыйская, ныне ул. Мазепы)**

На переднем плане гравёр изобразил запутанное переплетение улиц и переулков, прорисовав весь архитектурный декор зданий, — каменные карнизы, пилястры, архитравы и архивольты тронув темной позолотой вечеряющего дня, а все углы и ниши залил глубокой сепией теней. Призмы и глыбы этих светотеней переполняли теснины улиц, подобно потемнелым сотам с медом, топя в своем расплаве то неосвещенную сторону улицы, то просвет между домами, оркеструя полифонию и драматизируя архитектонику города мрачной романтикой теней.

На этой карте, выполненной в манере барочных перспектив, район улицы Крокодилов зиял нетронутой белизной, как в картографии принято было обозначать приполярные области и неисследованные территории или страны, о которых не было известно ничего определенного. Разве что направление нескольких улочек было намечено сплошной или прерывистой чертой, а их названия нанесены простейшим незатейливым шрифтом, в отличие от благородной антиквы всех прочих надписей. Видимо, картограф отказывался признать данный район частью города и недвусмысленно выразил свое предубеждение и несогласие таким вот образом.

Чтобы понять причины подобного отношения, необходимо сперва обратить внимание на сомнительный и двусмысленный характер этого городского района, выпадающий из общей тональности города в целом.

[...] Эта улица широка, словно бульвар в крупном городе, хотя ее проезжая часть больше похожа на деревенскую площадь из утрамбованной глины — всю в выбоинах и лужах, местами поросшую травой. Уличное движение и толчея здесь — постоянная тема для разговоров и предмет особой гордости и солидарности местных обитателей. Серая и неразличимая их толпа чрезвычайно увлечена энергичной имитацией жизни большого города. Однако, несмотря на все их старания и азарт, создается впечатление лишь монотонного снования без смысла и цели какого-то приснившегося хоровода марионеток.

*«Улица Крокодилов»***Городской театр**

Однажды мы даже сходили в театр.

И снова очутились в этом большом, плохо освещенном, галдящем, суматошном и грязноватом помещении. Но, пробравшись сквозь людскую толчею, мы вошли в зал с огромным бледно-голубым занавесом, похожим на какой-то незнакомый небосвод. Он слегка пошевеливался, и заодно с ним колыхались изображенные на полотне розовые физиономии с надутыми щеками. Эта имитация неба источала дух пафоса и патетических жестов того блистающего игрушечного мира, что был воздвигнут на подпорках и ходулях сценических конструкций. Огромное полотно дышало и подрагивало, оживляя театральные маски и заражая зрителей своей метафизической тревогой, говорящей об иллюзорности мироздания и о кроющейся за ним тайне.

Маски на занавесе била дрожь. Их подкрашенные веки трепетали, а красные губы что-то беззвучно шептали, и я уже не сомневался, что вот-вот настанет миг, когда напряжение достигнет пика — и разорвется завеса. Занавес поднимется, чтобы показать нам нечто неслыханное и ослепительное.

*«Лавки пряностей»***Улица Подвальная и «лавки пряностей»**

Уже через несколько шагов я сообразил, что на мне нет пальто. Стоило бы за ним вернуться, однако это показалось мне лишней тратой времени, поскольку зимняя ночь выдалась на удивление не холодной, а, напротив, будто бы пронизанной струями и прожилками непонятого тепла, дыханием какой-то псевдовесны. Снег свернулся белыми барашками, словно руно невинного агнца со сладковатым фиалковым запахом. Такими же барашками покрылись небеса, где двоился, троился, делился и множился месяц, демонстрируя все свои фазы и позиции на небосводе.

Казалось, в этот день небо решило обнажить свое внутреннее устройство во множестве анатомических срезов и проекций, являя спирали и слои света, идущие поперек зеленоватых глыб ночи — через плазму бескрайних просторов и ночных наваждений.

В такую ночь, идя по Подвальной или по любой другой из тех темных улочек, что опоясывают четырехугольник Рыночной площади и служат его изнанкой, невозможно не вспомнить, что где-то здесь угнездились и, возможно, все еще открыты престранные и манящие магазинчики, о которых в будние дни обычно намертво забываешь. Я прозвал их «лавками пряностей» из-за потемневших деревянных панелей цвета корицы, которыми были обшиты изнутри их стены.

Эти изысканные торговые заведения, зачастую открытые допоздна, издавна были предметом моих жарких вожделений. Плохо освещенные, полутемные и иератические помещения источали насыщенный запах благовоний, красок и лака, волнующий аромат дальних стран и редкостных материалов. Тут можно было найти бенгальские огни и магические шкатулки, почтовые марки исчезнувших стран и китайские переводные картинки, индиго и малабарскую канифоль, корень мандрагоры и нюрнбергские пружинные механизмы, живых саламандр, василисков и гомункулюсов в глиняных сосудах, личинки экзотических насекомых и яйца попугаев и туканов, подозрные трубы и микроскопы, но главное — редчайшие книги, старинные фолианты, избоблюющие неправдоподобными историями и украшенные удивительнейшими гравюрами.

*«Лавки пряностей»***Костел Св. Варфоломея**

Настали зимние, желтые, беспросветно скучные дни. Порыжелую землю едва прикрывал зияющий прорехами куцый покров снега. Большинству крыш его не хватило, и они оставались черными и ржавыми. О, эти гонтовые и жестяные кровли ковчегов, прячущих под собой закопченные перекрытия чердаков, эти распяленные на ребрах и стяжках собственной конструкции обугленные соборы, эти темные легкие студеных зимних вьюг! И всякий раз на рассвете обнаруживались все новые дымоходы и печные трубы, словно выросшие за ночь и продутые ночными ветрами пищалки дьявольского органа. Никакие трубочисты были не в силах разогнать ворон, что каждый вечер усаживались на голые ветви деревьев перед костёлом, наподобие черных листьев, внезапно срывались, чтобы тут же вернуться, причем

каждая на предназначенное только ей место на той же ветке, а на рассвете поднимались огромными стаями и улетали, словно клубящаяся сажа — хлопья копоти, постоянно меняя очертания и пятная своим беспорядочным карканьем разрастающуюся мутно-золотую полосу рассвета.

От стужи и скуки дни очерствели, словно буханки прошлогоднего хлеба, и их нарезали со сна без аппетита затупленными ножами.

### «Птицы»

Над пожелтевшим осенним парком ночное небо светлеет и краснеет в последних отблесках заката, что вызывает переполох в прореженной чаще деревьев. Уже изготовившихся ко сну ворон тревожат и вводят в заблуждение обманчивые признаки приближения рассвета. С неистовым карканьем птицы срываются с ветвей, сбиваются в крикливую стаю и бестолково кружат в рыжем мороке, напоминающем крепко заваренный чай, с завихрениями опадающих листьев, похожих на чайники. Не скоро успокаивается устроенная в небе вороньем кутерьма, и понемногу оседает поднятая ими круговерть в гуще парка. Птицы вновь рассаживаются на ветвях деревьев, и долго еще не стихают их беспокойные пересуды, охи, ахи, постанывания и вздохи, пока все звуки не смолкают, наконец, и не сливаются с шестом увядающей листы. Тогда окончательно воцаряется глубокая ночь. Проходит час за часом.

Прислонившись разгоряченным лбом к оконному стеклу, я ощущаю и верю: ничего плохого со мной уже не может случиться — я обрел тихое пристанище и покой. Впереди долгая череда лет сытых и отяжелевших от счастья, времена бесконечного блаженства. Еще несколько судорожных сладких вздохов, и грудь мою переполняет безбрежное ощущение счастья. Я перестаю дышать. Верю: так же как жизнь, смерть, утоляющая все печали, когда-то примет меня в свои ласковые объятия. Я буду лежать, пресыщенный временем, на зеленом и ухоженном здешнем кладбище. Моя жена, — как же будет ей к лицу вдовья траурная вуаль! — станет приносить мне утром в погожие дни цветы. И я слышу, как с самого дна переполняющего меня чувства начинает звучать музыка глубин — всплывают глухие, торжественные и печальные такты величественной увертюры. Я ощущаю могучее биение пульса земных недр. Нахмутив брови, я мучительно вглядываюсь вдаль и ощущаю, как шевелятся и поднимаются волосы у меня на голове. Я замираю и весь обращаюсь в слух...

### «Отчизна»

## II. ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

Переполненное небом всклянь комнатное окно уже не могло выносить эти светоносные залпы, от которых раслаивался воздух и начинали дымиться и вспыхивать занавески, ниспадая и отбрасывая золотые тени. На ковре разлегся и подрагивал скошенный пылающий квадрат, не имея сил оторваться от пола. Породивший его огненный столп потряс все мое естество. Я остолбенел перед ним враскорячку, как зачарованный, и только обливал его измененным, не своим голосом самыми немислимыми проклятиями.

В прихожей перед дверью столпились встревоженные и напуганные родственники, соседи, принаряженные тетки, заламывая в растерянности руки. Терзаемые любопытством, они подходили на цыпочках, заглядывали в комнату и тут же отходили. А я тем временем голосил.

— Видите, — кричал я матери и брату, — я же всегда говорил вам, что все на свете намертво замуровано скукой, заперто и нуждается в освобождении! И вот посмотрите — что за извержение, какой расцвет всего, какое блаженство...

И плакал от счастья и бессилия.

— Проснитесь же, — безуспешно призывал я, — придите мне на помощь! Разве один я справлюсь с этим наводнением, разве устою перед этим потоком? Как мне без вашей помощи ответить на миллионы ослепительных вопросов, которыми меня осыпает Господь?

Но они молчали, и я приходил в гнев.

— Поспешите же, черпайте целыми ведрами этот переизбыток благодати, запасайтесь впрок, пока не поздно! Но никто не мог мне помочь. Они стояли беспомощные, озираясь вокруг и прячась за спины друг друга. И тогда я понял, что мне делать...

*«Гениальная эпоха»*

Ночь на дворе была словно отлита из свинца — без выхода, без воздуха, без пути. Уже в паре шагов она заканчивалась тупиком. Приходилось топтаться на месте, как в полудреме, и пока ноги вязли у скоропостижного края скудного пространства, одна только мысль продолжала движение по топким тропам кромешной диалектики ночи, беспрестанно подвергаясь испытаниям и перекрестному допросу. Дифференциальный анализ ночи длился самопроизвольно, имманентно. Покуда ноги не застывали намертво в безысходной глуши, в совершенной темени, в интимнейшем закоулке ночи, где целыми часами приходилось простаивать в блаженном конфузе, будто без толку перед писсуаром. И только предоставленная самой себе мысль продолжала коловращение, словно разматывался какой-то клубок в лабиринте мозга, и ткался бескрайний трактат летней ночи, вопреки и поверх ее изощренной диалектики. Она кувыркалась посреди абстракций и логических ловушек, подпираемая с двух сторон беспрестанным вопрошанием и каверзными вопросами, не имеющими ответов. Так, философствуя, мой отец одолевал спекулятивные просторы тьмы, постепенно утрачивая телесный облик и все более погружаясь в беспросветную и безвозвратную глухомань небытия.

*«Мертвый сезон»*

Из-за позднего просыпания после куцега и бестолкового дня накатывала сразу ночь — как многолюдная и шумная прародина всех живущих. Толпы людей высыпали на площади и переполняли улицы, голова к голове, словно потоки черной икры или лоснящейся дроби, ползущие из лопнувших бочек во всех направлениях под черными как смоль небесами с переговаривающимися звездами. Ступени лестниц не выдерживали уже тяжести тысяч людей, фигурки отчаявшихся жителей маячили в окнах, люди-спички, с серными головками на древках, в сомнамбулическом самозабвении переползали через подоконники, подобно муравьям, образуя подвижные цепи, нагромождения и колонны и карабкаясь по спинам друг друга, они устремлялись на освещенные площади, где полыхали смоляные бочки.

Простите меня за то, что, описывая эти сцены сутолоки и огромного перенапряжения, я вынужден утрировать, невольно подпадая под влияние старинных гравюр в великой книге катастроф и поражений человеческого рода. Ведь все такие описания сводятся к единому прообразу, а их гипертрофированный пафос свидетельствует лишь, что на этот раз нам удалось выбить дно из бочки прапамяти, погрузиться в мифическую дочеловеческую ночь, где клокочут стихии и царит беспамятство, и что нам уже не остановить потопа. О, эта перенаселенная ночь, изобилующая рыбами и их звездной чешуей, о, эти жадные косяки, неутомимо заглатывающие голодной глоткой, дробными глотками, все вздувшиеся внешние воды тех черных проливных ночей! В фатальные сети каких исполинов устремлялись бессчетные поколения безвестных существ и тысячекратно размножившиеся их потомки?

*«Комета»*

По сей день, и не дольше. Как это — а что же с обещанным концом света, этой великолепной развязкой после столь искусного вступления?! Потупленный взгляд и улыбка. Может, закралась где-то ошибка в расчеты, неучтенная погрешность в вычисления или опечатка в колонки цифр? Ничего подобного. Все вычисления были верны, ни малейшей неточности при подсчете и ни единой опечатки не было допущено. Так в чем же дело? А вот послушайте.

Небесный болид несся как положено, словно лидер на скачках, сверкая копытами, чтобы заблаговременно пересечь финишную черту. Рядом с ним бежала мода сезона. Какое-то время он летел во главе эпохи, которая ненадолго приобрела его масть, форму и название. Но затем эти два скакуна сравнялись, мчась ноздря в ноздю в неистовом галопе, и наши сердца бились в такт с ними. Пока мода не стала обходить своего неутомимого соперника буквально на длину комариного носа, и этот миллиметр решил участь кометы. Она была предрешена, комету обогнали раз и навсегда. Наши сердца уже были с модой, великолепный болид все больше отставал, а мы равнодушно наблюдали, как он становился все бледнее и уменьшался, теряясь у черты горизонта, пытаясь в наклоне одолеть последний поворот беговой дорожки, — голубоватый, далекий и уже навсегда обезвреженный. Он выбыл из конкурса, исчерпал свой

запас актуальности, и никого больше не волновала судьба проигравшего. Предоставленный самому себе, он тихо угасал посреди повального равнодушия.

С опущенной головой мы вернулись к рутинным занятиям, пополнив еще одним разочарованием свой жизненный опыт. Космические перспективы поспешно сворачивались, жизнь возвращалась в привычную колею. Наступили дни беспробудной спячки, с утра до вечера и с ночи до утра, словно люди пытались отоспаться за все потраченное впустую время. Мы лежали вповалку в сумрачных комнатах, сморенные сном и влекомые сонным дыханием по слепым закоулкам беззвездных сновидений.

#### *«Комета»*

Печаль звездных пустынь довлела над городом, а фонари безучастно прошивали ночь нитями лучей, прикрепляя ее к земле, стожок к стожку. Прохожие задерживались вдвоем или втроем в кругах света под фонарями, создававшими обманчивое впечатление комнаты, освещенной настольной лампой, — посреди неуютной и равнодушной ночи, уходящей вверх и теряющейся в незаконных пространствах, в дремучих атмосферных ландшафтах, истрепанных порывами неприкаянного и бездомного ветра.

[...] Мы также поднялись, тогда как наша мысль давно уже бежала, опережая тела, вслед за стуком и громоуханием повозок ночи по далеким, светящимся и грохочущим, широко расходящимся звездным путям.

Так двигались мы под звездными фейерверками, прикрыв глаза и готовясь восторженно воспринять все более ослепительные озарения. Ох, этот триумфальный цинизм ночи!

#### *«Весна»*

### **III. МЕЧТЫ**

Эти ночные занятия интриговали меня и пленяли, вот и на этот раз я не смог устоять перед искушением заглянуть в двери рисовального зала, твердо пообещав себе не задерживаться здесь ни на секунду. Но, поднимаясь по кедровым ступеням черной лестницы, оглушительно резонировавшим в такт моим шагам, я вдруг с удивлением обнаружил, что оказался в совершенно незнакомом мне прежде крыле здания.

Ни малейший шорох не нарушал царящей здесь тишины. Коридоры в этой части здания были намного шире и устланы плюшевыми коврами, что придавало им фешенебельный вид. Маленькие пригашенные лампы освещали их изгибы и повороты. Пройдя по одному из ответвлений, я очутился в еще более просторном коридоре прямо-таки дворцового вида. Одна его стена представляла собой застекленную аркаду, за которой тянулась вереница жилых покоев. Это была целая анфилада помещений, обустроенных с поразительным вкусом и великолепием — с шелковыми обоями, золочеными зеркалами, хрустальными люстрами и драгоценной мебелью. Взгляд терялся и тонул в пушистой мягкости антикварных интерьеров, переполненных цветными рефlekсами, украшенных мерцающими арабесками с изысканной вязью гирлянд и распускающимися бутонами цветов. Глубокую тишину этих пустынных залов смущало только переглядывание исподтишка зеркал между собой да испуг арабесок, бегущих по фризам вдоль стен и теряющихся в затейливой лепнине и слепящей белизне потолков.

Созерцая подобную роскошь и начиная догадываться, что моя ночная эскапада привела меня нечаянно в жилое крыло к директорским апартаментам, я застыл в почтительном удивлении. Пригвожденный к месту любопытством, с бьющимся сердцем, я готов был сбежать отсюда от малейшего звука. Потому что, пойманный на горячем, как смог бы я объяснить свое ночное вторжение и невольный шпионаж, чем оправдать свое дерзостное любопытство?

#### *«Лавки пряностей»*

И вот быстрым шагом мы приближаемся к тому месту нашей истории, где речь пойдет о дивной и катастрофичной поре в жизни каждого человека, которую заслуженно можно назвать гениальной эпохой.

Невозможно отрицать, что при одной мысли о ней мы ощущаем стеснение сердца в груди, испытываем сладостное беспокойство, нас пробивает метафизическая дрожь, сопутствующая событиям окончательным и бесповоротным. Вскоре нам не останется в тиглях красок, а в душе — запала, чтобы набросать хотя бы ее общие контуры, расставить важнейшие акценты на светоносном и трансцендентном живописном полотне.

Что же это за гениальная эпоха? Когда это было с нами?

Но тут мы вынуждены ненадолго стать эзотериками, как господин Боско из Милана, и понизить свой голос до проникновенного шепота. Нам придется подкреплять свои суждения многозначительными усмешками, а кончиками пальцев то ли растирать щепотку соли, то ли пытаться определить на ощупь ткань загадочной субстанции. И не наша вина, если при этом мы покажемся кому-то манерными и жуликоватыми продавцами несуществующих одеяний.

Так существовала когда-то эта гениальная эпоха — или же нет? Трудно ответить однозначно. И да, и нет. Потому что есть вещи и события, которые не способны осуществиться вполне. Они чересчур огромны и превосходны, чтобы уместиться в рамках отдельного случая. Они только пытаются осуществиться, словно испытывая на прочность грунт реальной действительности и сейчас же отступая из опасения, что он их не выдержит, что, осуществившись лишь частично, они только покалечатся и утратят целостность, растратят свой капитал. И если такая беда все же приключится с ними, они тут же в отместку отбирают весь остаток собственности, отзывают все свое достояние и перестраиваются, видоизменяются, чтобы в наших биографиях остались лишь белые пятна и благоуханные стигматы, лишь серебристые следы босоногих ангелов на полях дней и ночей, откуда все великолепии восстановленной славы и совершенства зависает над нами и трепещет, переживая кульминацию за кульминацией.

А между тем вся полнота их совершенства отчасти присутствует в каждом из этих убогих и фрагментарных воплощений. И порой происходит нечто вроде разоблачения подмены. Событие может выглядеть крошечным и ничтожным по своему происхождению и последствиям, но, поднесенное к глазу, вдруг открывает нам бесконечную перспективу за собой, поскольку через него пробивается и лучится высший смысл.

Поэтому нам остается только коллекционировать эти аллюзии, эти земные намеки, эти полустанки на наших жизненных путях, словно осколки разбитого зеркала. Чтобы по кусочку восстановить то, что изначально едино и неделимо: великую и гениальную эпоху нашей жизни.

#### «Книга»

Мне не достало смелости обогнуть виллу и зайти с тыльной стороны. Меня тогда, несомненно, заметили бы. Но откуда же взялось у меня ощущение, что я уже бывал здесь когда-то очень давно? Действительно ли, нам не знакомы изначально и заранее все те места, которые повстречаются на нашем жизненном пути? И может ли, на самом деле, прозойти с нами нечто совершенно новое, чего мы втайне не предчувствовали бы издавна и не ждали?

Я твердо знаю, что когда-нибудь в вечерний час буду стоять здесь на лестнице, ведущей в сад, сжимая в своей руке руку Бьянки. Мы спустимся с ней в угол запущенного старинного парка, стиснутого каменными стенами, в воспетый Эдгаром По искусственный рай — поросший цыкутой, маком и увитый вьюнками опиумный рай, как на старинных фресках под выцветшими небесами. Мы разбудим белый мрамор слепых статуй в этом пограничном мире, за гранью скукоженного полудня. Мы спугнем ее единственного любовника — красного вампира, заснувшего на девичьем животе, сложив крылья. Он беззвучно взлетит — обмякший, зыбкий, плавно перетекающий, не имеющий скелета и даже плоти, — воспарит ярко-красным обрубок, закружится, взмахнет крыльями и растворится без следа в мертвом воздухе. Через маленькую калитку мы с ней выйдем на совершенно пустую лужайку. Выжженная трава на ней будет цвета сухих табачных листьев или индейской прерии на пороге осени. Возможно, это будет в Нью-Орлеане, штат Луизиана, или еще где-то — страна и место не имеют значения. Мы усядемся с ней на каменном парапете квадратного водоема. Бьянка окунет свои белоснежные пальцы в теплую воду, где плавают желтые листья, и не поднимет глаз. Я замечу сидящую на противоположной стороне крошечного пруда худощавую фигуру в черном глухом одеянии и шепотом спрошу Бьянку, кто это. Она покачает головой и тихо ответит:

— Не бойся, она не слышит. Это моя умершая мать, она здесь живет.

А после этого Бьянка скажет мне слова наисладчайшие, наитишайшие и наипечальнейшие. И не последует за ними никакого утешения. Начнут сгущаться сумерки...

#### «Весна»

#### IV. КАРТЫ СУДЬБЫ

Вся эта страна была приговорена и обречена изначально. Отсюда долгое послевкусие ее прощального жеста — раз за разом повторяющегося, уже давно бессодержательного и зависшего.

[...] А в самой ее глубине, где край вечеряющей земли отделен от мутно-золотистого ничто только увядающим кустом аканта, всё никак не закончится карточная игра, участники которой делают последние отчаянные ставки перед наступлением вечной ночи.

Черета лет неизбывной скуки подвергла безжалостной дистилляции и уценке весь хлам устаревшей красоты.

— Способны ли вы ощутить, — вопрошал мой отец, — всю бездну отчаяния дней и ночей этой приговоренной красоты?! Раз за разом она порывается имитировать удачные распродажи, устраивает иллюзорные многолюдные аукционы, симулирует азарт и неистовые страсти, голосит и играет на понижение, расточительным жестом транжирит свои богатства, чтобы, протрезвев, осознать, что все это впустую — что для самодовлеющего совершенства нет выхода из замкнутого круга, что не существует болеутоляющих средств для чрезмерности. Ничего удивительного, что нетерпение и беспомощность обреченной красоты должны были в конце концов достучаться до наших небес и отразиться в них, зарницами пройти по нашим горизонтам, породить все эти фантастические атмосферные фокусы и огромные облачные аранжировки, которые я и называю нашей другой осенью, нашей псевдоосенью.

##### *«Другая осень»*

То было сборище площадных шутов, толпа расшалившихся полишинелей и арлекинов, которые, не имея намерения что-либо покупать или продавать, своим дурачеством лишь расстраивали намечавшиеся кое-где торговые сделки, доводя их до абсурда.

Устав, наконец, от собственной надоедливой клоунады, веселый этот народец принялся разбредаться по окрестностям, постепенно теряясь в складках местности. Записные весельчаки поочередно пропадали без следа, по мере удаления, посреди долины или за скалами — ровно дети, уставшие от игр и забав во время большого бала и подыскивающие себе укромные уголки в жилых покоях.

А тем временем преисполненные важности и достоинства отцы города, мужи Большого Синедриона, прохаживались группками и тихим голосом вели серьезные беседы. По двое, по трое, они разошлись постепенно по всем дорогам нашего предгорного края. Маленькие и темные их силуэты виднелись на пустынных холмах на фоне хмурого неба с нависшими облаками. Оно было многослойным и походило на вспаханное поле, с параллельными бороздами и серебристо-белыми отвалами, являя вдали и в глубине все более тонкие уровни своего устройства.

В этом краю источником дневного света являлась лампа, отчего дни выглядели странно и ненатурально — дни без рассвета и заката.

##### *«Ночь Большого сезона»*

Но ты не без вины — о, Пора! И я скажу тебе, в чем Твоя вина. Ты не пожелала, о, Пора, оставаться в пределах реальной действительности. Никакая действительность не удовлетворяла Тебя, Ты постоянно нарушала границы и избегала возможностей реализации. Не находя утешения своей жажды в действительности, Ты надстраивала над ней конструкции из метафор и поэтических тропов. Существовать Ты могла только в ассоциациях и аллюзиях, в пробелах и зазорах между вещами. Всякая вещь кивала на другую, та ссылаясь на третью, и так без конца. Твое красноречие было изнурительным. Не было уже мочи терпеть это скольжение на волнах фразеологии без берегов. Прости, но именно так — фразеологии. И это сделалось очевидно, когда в разных душах, здесь и там, стала просыпаться тоска по сущности, по содержательности. С этого момента Ты была обречена. Выяснились пределы Твоей универсальности, Твоего большого стиля, Твоего великолепного барокко, которые были вполне адекватны в старые добрые времена, а теперь вдруг обнаружили свою манерность. Твои сладость и самоуглубленность носили на себе печать незрелой экзальтации. Твои ночи были так же огромны и беспредельны, как маниакальные восторги влюбленных, и так же призрачны, как галлюцинация и бред. Источаемые Тобой ароматы были чрезмерны и претенциозны не только по людским меркам. От Твоего прикосновения всякая вещь теряла свою определенность, очертания и волшебным образом начинала

прорастать во все более высокие сферы. Поедая Твои яблоки, невозможно было не мечтать о плодах райского сада, а предложенные Тобой овощи заставляли думать о еде нематериальной, которую возможно воспринимать одним лишь обонянием. На твоей палитре присутствовали только чистые цвета, тебе недоступна была насыщенность и яркость темных, землистых и жирных оттенков коричневого цвета. Осень — это тоска человеческой души по сущности, по материальности, по собственным границам. Когда по невыясненным причинам метафоры, проекты и человеческие грёзы начинают испытывать неодолимое желание осуществиться, им на выручку приходит осень.

### «Осень»

Там, где карта страны приобретает чересчур уж южный вид, выцветает и темнеет под палящим солнцем, как переспелая грушка, — там, как кот на пригреве, разлегся этот не похожий ни на что край, эта совершенно особенная провинция, этот город, единственный на белом свете. Но впустую толковать о чем-то таком профанам! Бесплезно объяснять, что из-за этого высунутого в зной длинного и волнистого языка земли, воткнутого полуденным мысом в венгерские виноградники на выгоревших холмах, наш край имеет мало общего с остальной страной и вынужден в одиночку двигаться на собственный страх и риск по неведомым дорогам, пытаться утвердить себя как отдельный мир. Этот край и этот город замкнулись, как створки раковины, создав самодостаточный мирок, и замерли на пороге вечности.

### «Республика грёз»

Перевод с польского Игоря Клеха

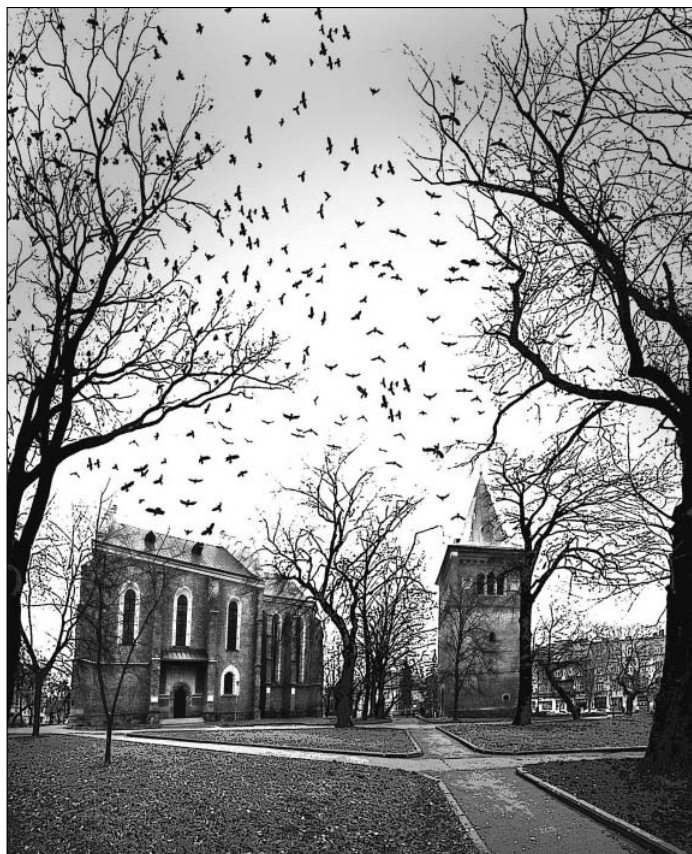


Фото Игоря Фецака